Военные Приключения

БАГРОВЫЕ КОВЫЛИ

И. БОЛГАРИН В. СМИРНОВ

Адъютант его превосходительства

Игорь Болгарин

Багровые ковыли

«ВЕЧЕ»

2009

Болгарин И. Я.

Багровые ковыли / И. Я. Болгарин — «ВЕЧЕ», 2009 — (Адъютант его превосходительства)

ISBN 978-5-4444-7822-6

В романе рассказывается об одной из самых драматических страниц Гражданской войны – боях под Каховкой. В центре произведения судьбы бывшего «адъютанта его превосходительства» комиссара ЧК Павла Кольцова и белого генерала Слащева, которые неожиданно оказываются не только врагами.

ISBN 978-5-4444-7822-6

© Болгарин И. Я., 2009
© ВЕЧЕ, 2009

Содержание

Часть первая 6
Глава первая 6
Глава вторая 15
Глава третья 20
Глава четвертая 26
Глава пятая 32
Конец ознакомительного фрагмента. 33

Игорь Болгарин, Виктор Смирнов
Багровые ковыли

© Болгарин И.Я., 2009
© Смирнов В.В., 2009
© ООО «Издательство «Вече», 2015
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2015
Сайт издательства www.veche.ru

Часть первая

Глава первая

Почта в Стамбуле работала по принципу, который господствовал во всех остальных ведомствах Блистательной Порты: этого не может быть, но это есть и действует.

В городе не было ни табличек с наименованием улиц, ни номеров домов. Между тем улиц, если считать ими и короткие лестничные спуски и подъемы, сжатые домами с нависающими над ступенями вторыми и третьими этажами, насчитывалось более десяти тысяч. А уж домов-то, в том числе совершенно немыслимых сооружений из камней, кирпича, бревен, палок, глины, жести, старой парусины, достигающих иногда трехэтажной высоты, да еще с плоскими крышами, где тоже жили, спали, мылись, готовили пищу, было, говорят, не менее двухсот сорока тысяч.

Город, в котором в мирное время проживало около миллиона жителей, за последние годы принял в себя еще более трехсот тысяч – победителей, главным образом англичан, американцев, французов и итальянцев, а также беженцев. Разобраться в этом муравейнике не мог никто: ни даже сам эфенди градоначальник, ни его губернаторы и каймаки, управляющие городскими округами и пригородами.

Но, как бы там ни было, босоногие стамбульские почтальоны, которым приходилось бегать не только по гладкой брусчатке нескольких роскошных улиц в богатом районе Пера, но и по булыжнику улиц попроще, в Эюбе или Скутари, а также шлепать по земляным и вечно грязным и скользким из-за стекающих нечистот улочкам старых районов – касбы, довольно быстро и точно находили адресатов. Еще в самом начале улицы почтальон начинал выкрикивать фамилию адресата, и тотчас эта фамилия дружно подхватывалась десятками голосов и перекатывалась из дома в дом. И вот, пожалуйста: получатель письма уже спешит к почтальону, протягивая мелкие монетки взамен доставленного конверта. Это бакшиш от бедняка к бедняку.

«Исмарладык!» – «Гюлле, гюлле!» – прощаются почтальон и счастливый получатель, которому теперь еще предстоит найти того, кто смог бы прочитать то, что написано в письме.

Иностранцы издавна предпочитали содержать в Стамбуле собственную почту. Так было надежнее. Существовал русский, французский, немецкий почтамт. Теперь же с русской почтой вообще стало проще: все письма, адреса которых были написаны кириллицей, шли в представительство Врангеля на улицу Пера, а дальше, уже совсем по-турецки, проходя через десятки рук, отыскивали адресата.

– Баклагина Мария Ивановна? Она здесь, в представительстве, в кабинете второго секретаря вместе со Ртищевыми… Смотряевы? Подались в Париж. Пересылай на рю Гренель, в посольство. Там найдут… Должанский? Иван Семенович? Он же получил сербскую визу и отбыл в Белград…

Как-то жарким утром, когда даже ветер с Черного моря (родной, родной северный ветер!) не принес прохлады, Маша Рождественская, славная девчушка, несмотря на полуголодную жизнь, вечно что-то напевающая, отыскала Таню Щукину в саду представительства:

– Таня, пляши! – И помахала голубоватеньким конвертом. – Пляши, тебе говорят, а то не отдам.

И заставила все-таки взволнованную Таню изобразить пальцами и кистями рук мелкий русский перебор да пройтись по аллейке с притопом. Только после этого раскрасневшаяся от волнения и быстрых движений Татьяна получила конверт. Письмо было от Микки Уварова. Посылая письмо с оказией, Микки, очевидно, хорошо знал, как работает нынешняя почта,

потому что адрес на конверте был предельно прост: «Константинополь, Русское представительство на Гран Пера, Татьяне Николаевне Щукиной. При отбытии адресата прошу переправить в Париж, на рю Гренель, в Русское посольство».

Древнее название Константинополь с легкой руки русских вновь возродилось в это мятежное время. Они называли так Стамбул не только из-за благозвучности для русского уха. В самом имени Константин звучала надежда, в нем как бы подчеркивалось, что они не на чужбине, что совсем близко родина и что еще возможен возврат к старому.

Были у города и другие имена: Истамбул, Царьград, Коспол, которыми тоже пользовались, и не только в устной речи. И что удивительно, подписанные этими названиями письма тоже, как правило, находили своих адресатов.

Получив письмо, Таня сделала то, что делали все обитатели представительства, получая весточку из России, точнее, из той ее маленькой части, которую еще можно было именовать Россией: она поднесла конверт к лицу и втянула в себя воздух. И ей вдруг показалось, что сквозь пряные, южные ароматы Константинополя пробивается запах родной земли, тот, что не передать словами, тот, что возвращал память к березовым рощам, бескрайним лугам, поросшим кувшинками речушкам…

– Что там, Танечка? Кто пишет? – тут же собрались вокруг Щукиной молоденькие любопытные сестренки Рождественские. «Общежитие» предельно упростило их быт, и многие правила хорошего тона отошли в прошлое. Таня ничего не ответила, нашла за кустами азалии укромное местечко и принялась читать.

«Вдруг Уваров узнал что-либо о Кольцове?» – было первой ее мыслью, когда она еще только вскрывала конверт.

Почерк у Микки был красивый, аккуратный, с декоративными завитушками. Несомненно, в гимназии по каллиграфии он получал самые высокие баллы.

«Уважаемая, милая и дорогая Татьяна Николаевна! – писал Микки. – Для начала остановлюсь на наших крымских делах: после всех злоключений я теперь служу у Петра Николаевича Врангеля адъютантом по особым поручениям. Служба обычная, рутинная, но зато я часто выезжаю на фронт в Северную Таврию, где наши дела идут хорошо, если не сказать большего. Боюсь сглазить.

Но позвольте перейти к главному. Где бы ни застало Вас и Вашего отца мое письмо, в Константинополе или в Париже (я полагаю, что вы задержитесь в Турции – во-первых, из любопытства, во-вторых, из-за необходимости оформления всех бумаг), я надеюсь, Бог милостив: мои строки отыщут Вас.

После Вашего отъезда, Татьяна Николаевна, я почувствовал себя в полнейшем одиночестве, хоть и виделись мы с вами нечасто, да я и боялся отвлечь Вас от Ваших мыслей, в которых для меня, наверно, было очень мало места. Сказать, что я привязан к Вам, значило бы не сказать ничего. Но я понимал Вас, Ваше состояние и никогда бы не посмел высказать то, что очень хочу, если бы не полное изменение обстоятельств, которые делают невозможными какие бы то ни было связи с прошлым.

Конечно, Вы не обращали на меня внимания и не ощущали моего отношения к Вам еще в те времена, когда ставка Владимира Зеноновича находилась в Харькове и Вы приходили повидать отца. Все чудовищные перипетии дальнейшей жизни лишь утвердили меня в сознании того, что я давно, верно и крепко люблю Вас, Татьяна Николаевна. Теперь я могу сказать об этом недвусмысленно, напрямую. До сих пор это мое признание могло показаться Вам навязчивым и не вполне тактичным.

Среди большой беды, выпавшей на долю России и всех русских, я должен изъясняться ясно и четко. Было бы чудовищно потерять Вас в этой кутерьме. Татьяна Николаевна, я предлагаю Вам свою руку и сердце. Если Господь будет столь милостив к моей малой судьбе и сохранит мне жизнь в эти годы скитаний и потерь, я сумею сделать так, чтобы Вы не испытывали

никаких лишений и мук. Если мое предложение и мои чувства не вызывают у Вас неприятия, я сумею добиться временного командирования к нашему послу в Париже Василию Алексеевичу Маклакову, так как существует постоянная необходимость в доставке особого рода документов. Наша встреча могла бы прояснить все окончательно. Пожалуйста, откликнитесь! Для меня менее мучительно было бы перенести Ваше “нет”, чем молчание.

Мысли мои только о Вас. Мой самый почтительный поклон Николаю Григорьевичу. Пожалуйста, передайте ему, что я нижайше прошу Вашей руки, но нарушаю этикет, обращаясь прямо к Вам, поскольку время войны безжалостно расправилось с теми правилами, по которым мы жили еще совсем недавно.

Ваш – если Вы распорядитесь – до конца бытия Михаил Уваров».

Таня расплакалась. Письмо напомнило ей о тех недавних временах, когда делали предложения, являлись к родителям, просили руки и сердца, сватались, обручались, месяцами готовились к свадьбе как к самому главному событию в жизни не только двух молодых людей, но целых семейств. Предложение Микки, высказанное в самом достойном тоне, почему-то вызвало у нее жалостливое состояние. Было жалко себя, своей любви к Павлу и любви Микки к ней. Как все перепуталось в этом мире!

Если бы Кольцов был адъютантом генерала Ковалевского, без этой сложной игры, без этих большевиков! Он тоже мог прислать ей такое письмо. Она бы согласилась на все и на первом же пароходе вернулась в Севастополь – навстречу неизвестности, всем возможным грозам и бурям, лишь бы быть с ним. Но Микки…

А впрочем, что Микки? Он простодушен, чувствителен. Будь он на месте Павла, ради любви отказался бы от «своих» и бросился к Тане, презрев все обстоятельства. За что же ей плохо относиться к бесхитростному и простосердечному Микки?

Плач Тани перешел в рыдания.

– Что случилось, Таня, кто-то погиб? – захлопотали вокруг нее Рождественские.

Старшая из сестер, Анюта, уже готова была разрыдаться вместе с подругой. Ранней весной, при отступлении, у нее без вести пропал жених. У средней, шестнадцатилетней Маши, убили знакомого гимназиста, ушедшего на фронт вольноопределяющимся.

– Нет, все живы, слава Богу! – сказала Таня сквозь слезы. – Просто мне делают предложение!

Рождественские дружно расхохотались, принялись обнимать подругу. Предложение! И это в такое трудное военное время. Половина русских женихов, интеллигентных мальчиков, взявшихся за грубое дело войны, уже лежали в сырой земле. А истребление все продолжалось.

– Счастливая ты, Танюша!

Счастливая? А разве нет? Если бы рассказать подругам, что ее жених к тому же богат, да не прошлым, растаявшим в снегах России богатством, а европейским, банковским, надежно вовремя вывезенным, то-то было бы шуму, и переполоху, и радости, и зависти, и слез!

И как раз в этот вечер объявился отец. Он очень изменился за это короткое время: исхудал, загорел, у рта залегли новые жесткие складки. Его глаза, которые покойная мать когда-то называла ястребиными – желтовато-карие, строгие глаза, – приобрели еще более суровый и хищный взгляд. Таня понимала, что он был занят какими-то своими тайными служебными делами, и ни о чем не расспрашивала. Хотя многое в поведении отца после отставки казалось ей странным.

Деликатные соседи по комнате оставили отца с дочерью наедине. Таня напоила Николая Григорьевича чаем, настоящим цейлонским, купленным в хорошем магазине напротив представительства на Гран Пера. Щукин с жадностью выпил сразу три чашки. Таня, с дочерней покровительственной нежностью, смотрела на его коротко остриженный, седой затылок, худые, жилистые руки с крохотными, похожими на веснушки пигментными пятнами.

Таня знала, что отец нравится женщинам. Многие из них с радостью приняли бы ухаживания или просто внимание отца. Но он держался строго и аскетично, словно боясь лишить ласки и заботы свою единственную дочь.

Бедный, бедный папа! Своим эгоизмом она принесла ему столько горя и переживаний!.. На секунду Таня прижалась щекой к его седому, угловатому затылку. И ей вдруг показалось, что с отцовской нежностью и любовью она ощутила исходящую от него волну какой-то злой решимости.

Чем занимался он все эти дни? Где пропадал? Почему так изменился, погрубел? Татьяне даже показалось, что она догадывается. Письмо Микки Уварова, несомненно, снимет с его души самый тяжелый камень. Если… если она примет предложение.

Таня положила письмо перед отцом. Неизвестно, лежали ли когда-нибудь на этом инкрустированном, но уже порядком потертом за последнее время представительском ломберном столике любовные послания.

Отец дважды внимательно прочитал письмо Уварова. Подумал, вздохнул.

– Достойное письмо, – сказал он наконец. – Микки, похоже, очень изменился за последнее время. Война сделала из мальчика мужчину.

Таня ждала другого ответа, хотя услышать такую похвалу от отца ей было тоже приятно. Она боялась, что он считает Уварова аксельбантовым пустозвоном.

– Таня, ты ждешь от меня решительного слова, совета? Да, Михаил богат и красив, образован, деликатен. Выдав тебя за него замуж, я мог бы быть спокоен. Но я ничего не скажу тебе. Ты должна решать сама, как подскажет сердце. Я женился на твоей матери по страстной любви, и, хоть наше счастье было недолгим, мне жаль тех, кто не испытал такого. Я хочу, чтобы ты была счастливой женщиной. Ты не должна жертвовать собой ради нашего будущего благополучия. Мы небогаты, но можем рассчитывать на скромный достаток. Видишь ли, я тут не терял времени даром и занимался кое-какими коммерческими делами. Вполне успешно. Ты можешь считать себя не стесненной материальным расчетом.

Произнеся эту непривычно длинную для себя речь, Николай Григорьевич замолчал. И, вдруг подумав, что разговор получился слишком сухим, погладил дочь по руке.

Таня нежно посмотрела на отца. Да, его глаза стали другими. К печали, появившейся в них со смертью мамы, прибавилась жестокость. Таня не раз слышала, что контрразведчики не раз использовали свои возможности, чтобы приобрести «материальный достаток» за счет тех, кто находился в их власти. Но неужели ее отец?.. Да и не было у него сейчас никакой власти.

Таня по молодости еще не знала, что опыт, связи, знания и профессиональное умение, которым обладает настоящий контрразведчик, – это тоже власть.

Николай Григорьевич вдруг усмехнулся.

– Нет, Таня, я не совершил ничего несправедливого, ни один порядочный человек от меня не пострадал. Ты ведь об этом думаешь, верно?

Таня облегченно вздохнула.

«Как порой ей не хватает матери! – подумал Щукин. – Если бы была жива Люба! Только она могла найти нужные слова. А может быть, никакие слова не нужны, а лишь материнское, женское участие: слезы, поцелуи, объятия. На многие испытания обрек Господь Таню, так рано лишив ее матери».

– И все же это достойное мужчины письмо, – повторил Щукин. – Но знаешь что, отложи свои мысли и соображения до Парижа. Как говорят, Париж стоит мессы. Мы отплываем завтра.

– Как? Почему так спешно? – удивилась Таня.

– Да, завтра. Так получается. И пароход подвернулся хороший – «Великий князь Константин Павлович». Чистый. Визы уже в кармане. Собирайся, времени совсем мало.

Как легко он это сказал: визы в кармане. А сколько связей пришлось задействовать, сколько денег потратить, чтобы получить их во французской миссии!

– И завтра с утра у нас будет праздник, – сказал Николай Григорьевич. – Я наконец свободен, и мы на прощание пойдем гулять по Константинополю.

– Ой, папочка! – радостно воскликнула Таня. – Как хорошо! Ведь мы, кроме Пера, нигде не были.

«Ну вот, слезки уже и высохли, – вздохнул Щукин. – Девочка устала от переживаний и одиночества. Без близких, совсем одна».

– Мы пойдем в турецкие кварталы, – сказал Щукин. – Поэтому на вот, примерь.

Таня достала из пакетика, который протянул ей Николай Григорьевич, темную вуаль – чарчафу. Такие дорогие накидки отличали знатных турчанок. Таня тут же надела ее и завернула вокруг головы, как это делают настоящие турчанки, лишь оставила небольшую щель для глаз. Из этой щели на Щукина смотрели незнакомые, необыкновенной красоты глаза.

– Без вооруженного спутника такую красавицу даже в чарчафе никуда из дому нельзя выпускать, – сказал Щукин. – Особенно в касбу, в старый район… Знаешь, у тебя мамины глаза!

…Как ни рядись европейская женщина в восточные одежды, в ней все равно легко угадать чужестранку. Даже просторное турецкое платье, даже чарчафа не могли скрыть ни юную, гибкую фигурку Тани, ни красоту ее лица. Турчанки веками учились, согласно законам шариата, прятать на улицах свою стать и молодость.

Едва Щукин и Таня прошли по улице Пера к фуникулеру, как к ним пристроился полный грек в феске, в дорогом костюме, с массивной золотой цепью для часов и с безвкусным, но украшенным крупным изумрудом перстнем. Грек держался в отдалении, пристально рассматривая Таню. Как ни старался он быть неприметным, Щукин сразу вычислил неумелого «наружника». То, что он интересовался не полковником, а Таней, тоже было очевидно, и Николай Григорьевич лишь про себя посмеивался.

Недалеко от грека, искоса поглядывая по сторонам, шел однорукий Степан в военной форме. Это была подходящая одежда. К русским военным турки относились хорошо, особенно к инвалидам: это были не чванливые победители из стран Антанты. В них турки чувствовали родственную душу, так как и сами даже в своей стране выглядели чужаками, людьми второго сорта.

В вагончике трамвая, проделывающего километровый путь в темном тоннеле от района Пера к Галате, которая лежала у самого слияния Босфорского пролива и залива-гавани Золотой Рог, зажглись неяркие лампочки. Николай Григорьевич тут же объяснил дочке, что ей следует пересесть в женское отделение, и кондуктор, получив от Щукина пиастры, проводил Таню в угол вагона, задернув за ней занавеску. Несколько турчанок уже находились в этом отделении, и Тане показалось, она уловила сквозь складки чарчаф их насмешливые взгляды. Они сразу признали в ней приезжую. Действительно, платье девушки, хоть и достаточно длинное и широкое, сильно отличалось от темных, мешковатых, украшенных пелеринками платьев турчанок, сшитых с тем, чтобы тщательно скрыть даже малейший намек на женственность.

Полный грек, который тоже оказался в фуникулере, тут же пересел на освободившееся рядом с Николаем Григорьевичем место и скороговоркой, но на достаточно понятном русском языке объяснил ему, что очень заинтересовался юной женщиной, спутницей уважаемого русского господина. Не важно, дочь это или жена, потому что он, грек, очень богат, а русскому господину скоро понадобятся деньги, много денег. И есть хорошая возможность уступить греку красавицу, потому что у него хоть и есть жена в Пирее, но и здесь ему нужны дом и хозяйка, которая будет жить, как жена, и даже лучше, потому что он, грек, умеет любить и ценить женщин. Он постоянно живет в Стамбуле, у него несколько складов и три парохода.

Степан, который стоял рядом, держась за спинку сиденья, наклонился и тихо прошептал Щукину на ухо:

– Прикажете выкинуть его прямо здесь, в тоннеле?

Похоже, Степан входил во вкус. Щукин успокаивающе похлопал его по широкой, как лопасть весла, ладони, озорно подмигнул.

– «Ехал грека через реку, видит грека – в реке рак», – смеясь, протараторил Николай Григорьевич скороговорку и, склонившись, пояснил настойчивому владельцу пароходов: – Будешь дальше приставать, в первом же удобном месте пристрелю… Хочешь?

Судовладелец не обиделся.

– Русски офицер, да?.. Русски офицер – хороший, смелый, умеет воевать, – сказал он. – Но без денег плохо будет. Совсем плохо. Тогда думай. – И он сунул в нагрудный карман Николая Григорьевича визитную карточку. – Через полгода приходи, шашлык есть будем, вино пить, друзья будем!

И исчез, прямо растворился. Куда делся, Щукин не понял да и не интересовался вовсе…

Вышли из трамвайчика. Мимо здания Биржи прошли к Новому Галатскому мосту, заполненному народом, и, заплатив несколько монет сборщикам платы, одетым в жаркие балахоны, перешли на другую сторону. Здесь как будто кончилась Европа и началась другая страна, хотя это и был, собственно, исторический Константинополь, бывший центр Византийской империи, просуществовавшей тысячу лет.

Таня растерялась в гаме и шуме, окружившем ее. Теперь она поняла, почему отец взял с собой Степана, который на голову возвышался над всеми, видел далеко окрест и не отступал от Тани ни на шаг. Но больше всего поразили девушку молчаливые, как бы застывшие фигуры нищих турок – они не просили, нет, просто стояли, глядя перед собой в никуда, и тихо или даже вовсе беззвучно повторяли суры Корана. Иные делали вид, что торгуют, держа в руке полусгнивший, подобранный тут же, в порту, среди ящиков, банан, апельсин или лимон… Один из таких продавцов, подбрасывая и ловя зеленый грязный лимон, то и дело повторял: «Амбуласи, амбуласи» («Лимоны, лимоны»), хотя плод у него был всего лишь один.

Таня видела, должно быть, что это нищие, смертельно голодные, тяжело больные люди, с глазами, уже закрытыми трахомой, со слипшимися веками, потерявшие конечности в боях на Галлиполи. Но каждый из них всеми силами старался доказать, что он не нищий, не проситель, а торговец или просто увлеченный молитвой, общением с Аллахом человек, ибо нищенство в Турции было строго запрещено. В европейскую часть города таких людей просто не пускали, чтобы они не портили красивого вида заполонившим центр американцам, французам, итальянцам и англичанам. Зато здесь они еще могли рассчитывать на снисхождение полицейских, если не занимались откровенным попрошайничеством.

Для Тани в одно мгновение померкло очарование небывало красивого города с его бесконечными храмами, мечетями, синагогами, дворцами, рынками, медресе, садами, банями, акведуками, старыми стенами и башнями, с блеском окружающих город вод малых речушек. Она почему-то вспомнила русские празднества, с нищими на папертях и вокруг храмов, с каликами перехожими, которым каждый старался сунуть копеечку, кусок кулебяки, яблоко, а то и зазвать к себе – напоить и накормить целую компанию…

Эти же бедняги, которые стояли так ровно, так безгласно, уже предали себя в руки Аллаха, «да будет благословенно имя Его», и готовились к тихой, неприметной смерти, которая могла прийти в любой день и в любой час и свалить прямо на грязную улицу. Проезжающие мимо, наверно, поспешно уберут тело, чтобы не мешалось под ногами, и сволокут куда-нибудь на баржу, которая, как только заполнится, будет отправлена на один из безымянных островов, превращенных в кладбище.

Таня то и дело выпрашивала у отца несколько пиастров, подбегала к нищему и быстренько совала монетку, отчего тот испуганно вздрагивал, оглядывался и шепотом благодарил.

– Барышня, милая, – тихо сказал ей Степан, – всех не одарите, их же тут мильоны…

Таня вспомнила Кольцова, один их разговор, когда он старался объяснить ей причины революции. «Посмотрите, сколько нищих бродит по России! Да разве только по России?

Сколько бездомных, безнадежно больных! Разве можно справиться с этим при помощи благотворительности? Подаянием? Хотя и оно, конечно, – дар бесценный. Необходимы полное переустройство общества, бесплатное лечение, образование, жилье, нужна забота всех о каждом. Не должно быть нищих в стране дворцов. А ведь этих дворцов в одном только Харькове, оглянитесь, сотни, в Петрограде – более тысячи…»

«Милый, милый Павел, русский мечтатель, превратившийся в воителя. Для всех он шпион, изменник, преступник. И лишь одна я в этом белом стане понимаю, что у него не было дурных намерений и мыслей, что он хотел людям только добра. И не его вина, что добро обретается лишь в кровавой борьбе… Ну вот я отправилась посмотреть на самый красивый и экзотический город мира, а сама тут же начала думать о Павле. А Микки с его предложением счастья для двоих, уединившись на островке среди моря бедствий, исчез куда-то далеко, и даже попытка сравнить этих двух людей показалась нелепой и смешной…»

Впервые Таня была довольна, что лицо ее закрыто. Она еще глубже надвинула чарчафу на глаза, чтобы никто не увидел ее слез.

Прошли Бит-Чарши – базар или настоящий город старьевщиков, где торговцы на грязных тряпках, газетах и ящиках разложили, казалось, всю рухлядь мира. Вещи, которые, скорее всего, не имели никакой цены и никому не были нужны. Обломки бритв, половинки ножниц, гнутые гвозди, колесики от будильников, сломанные фарфоровые статуэтки, рамы для картин с отвалившейся лепниной, перьевые ручки, засиженные мухами гравюры – весь хлам Европы и Азии собрался на этом перепутье дорог. И, как ни странно, здесь шла торговля и стоял неимоверный крик.

Щукин со Степаном тоже что-то искали на Бит-Чарши. Переговорили с несколькими продавцами, посмотрели какие-то вещи, завернутые в промасленные тряпки, наконец выбрали что-то небольшое, но увесистое. Эту странную вещь им почтительно, с поклонами завернули в чистую, свежую газету и перевязали бечевкой. Ни Николай Григорьевич, ни Степан не стали объяснять Тане, что они купили новенькую «беретту» – итальянский автоматический пистолет, небольшой и очень надежный. У Степана не было своего личного оружия (не трехлинейку же брать с собой в поездку!), а такая вещь, как «беретта», очень даже могла пригодиться в дополнение к солдатскому кулаку. Дорога предстояла длинная, да и кто сказал, что пароход в это время – самое безопасное место?

Николай Григорьевич не стал объяснять дочери, что Бит-Чарши – это место, где покупают и продают оружие. Солдаты и офицеры всех армий, проживающие в Стамбуле, проигравшись в покер или кости или просто по денежной нужде, приносили сюда свои «наганы», «вальтеры», «вебли-скотты», «энфильды», «кольты», «браунинги», гранаты Мильса, штыки и даже ручные пулеметы «гочкис» или «мадсен».

Иногда полиция делала налеты на Бит-Чарши, чтобы предупредить закупку оружия сторонниками Кемаля. Тогда торговцы смертоносным товаром перемещались на соседний крытый рынок, Капалы-Чарши. Там уж из-за многолюдья найти покупателя или продавца было просто невозможно.

Таня, конечно, догадалась, что купил отец, но решила промолчать, ведь сделано это для их личной безопасности.

Они насквозь прошли запутанный, как лабиринт, старый город, куда побаивались заходить даже патрули. Осмотрели большие мечети. Особенно поразила Айя-София, где на одной из колонн на страшной высоте оставил отпечаток окровавленной руки покоритель Константинополя султан Мухаммед Второй, въехавший сюда по горе трупов. Видели акведук императора Валента, стену Феодосия и стену Константина, которые некогда были утыканы отрубленными головами побежденных византийцев.

В европейскую часть города возвращались также на трамвае. Тане опять пришлось забираться на женскую половину и, приоткрывая занавеску, искать взглядом отца и его верного

оруженосца Степана. Таня замирала от одной только мысли, что вдруг не увидит знакомых лиц. Отец о чем-то живо и весело беседовал с турками, и они, по виду добродушные и приветливые, никак не походили на кровожадных разбойников.

На одной из остановок они сошли и добрались до ворот Каллиника в стене Феодосия, того самого архитектора Каллиника, который, как Таня помнила еще с гимназической скамьи, в начале первого тысячелетия подарил Византии особую взрывчатую смесь, так называемый «греческий огонь». Минуя бесконечные кладбища, из которых, как показалось, наполовину состоит город, по виляющей песчаной дороге добрались до пригорода Эюба, где над Золотым Рогом, узком в этом месте и похожем на среднерусскую реку, стояла небольшая кофейня.

– А вот это любимое место Фаррера, – с улыбкой указал Тане на кофейню отец. – Помнишь, как ты зачитывалась его романами? Впрочем, он прославил не только эту кофейню, но и вон то кладбище. Именно здесь, вон в тех зарослях, сэра Арчибальда убил коварный француз дипломат, переодевшийся турчанкой.

– Хош гельдиниз! (Добро пожаловать!) – Хозяин кофейни, совсем ссохшийся старик, поставил перед посетителями крохотные чашечки с ароматным, крепким кофе.

Удивительное дело, выпив этот кофе, Таня почти сразу почувствовала, как исчезло не только ощущение усталости, но и голода, который начинал мучить ее. Телу стало легко и свободно.

– Странно! – задумчиво произнесла Таня. – Он, оказывается, не такой и страшный, этот город. И никого, наверное, в этом прекрасном Золотом Роге не топили…

– Конечно, – согласился Николай Григорьевич.

– Это только в книжках такие страсти, барышня, – добавил Степан.

– Но откуда здесь так много нищих? – спросила она. – Вот и сейчас, вон там, у куста… двое… стоят и ждут… у них такие голодные глаза.

Щукин вздохнул.

– Это не нищие, дочка. Это умирающие. Турки – гордый народ, они не просят. Подаяние они возьмут, но, боже упаси, сами ни за что не попросят… Турция, как и Россия, потерпела жесточайшее поражение: она не выдержала войны и рухнула в бездну развала. Поэтому турки лучше понимают русских, а не англичан…

– Папа, но в богатой России и до войны было много нищих. И здесь – тоже. Может быть, дело не только в войне?

Щукин внимательно посмотрел на дочку. Лицо его внезапно стало суровым.

– Таня, жизнь несправедлива. Всюду. Всегда. Ты уже взрослая и прекрасно это понимаешь. «Амор фати», как говорили древние. Люби судьбу, принимай ее такою, какая она есть.

Щукин хотел было напомнить дочери о письме Микки как о подарке судьбы, но сдержался. Никакого вмешательства, никакого давления. Полковник чувствовал, что где-то здесь бродит тень Павла Кольцова, он не оставил Щукина и в этом древнем городе. Несчастный мечтатель и переустроитель общества по-прежнему пытается победить полковника. До каких пор это может продолжаться?

Ну до Парижа-то Кольцову, слава богу, не добраться. Он уничтожит эту тень, показав дочери огни пляс д'Этуаль, шеренги старых платанов на Елисейских Полях, веселые кабачки Монмартра.

– Ну, пора! – сказал Николай Григорьевич. – На пароход!..

И, словно прочитав не высказанные отцом мысли, Таня обреченно подумала: «Ну вот и конец! Как быстро все произошло. И безжалостно. Я никогда больше не увижу Павла. Ни-ког-да! Жамэ! И не потому, что Париж далеко, что это другая страна. Нет. Просто это другой мир, в котором ему нет места. И я бессильна что-либо предпринять, как-то повлиять на свою судьбу ради себя и ради него, ради их общей любви, которой до сей поры она все еще жила… Все!.. Жамэ!.. Ни-ког-да!..»

– Завтра мы уже будем далеко от этих полуазиатских картин, – бодро сказал полковник.

Он подошел к двум застывшим близ кофейни бледным, изможденным туркам, которые, судя по выправке, совсем недавно еще были нукерами, и дал каждому по лире. Бывшие аскеры вытянулись, отдали честь. Какой-то солдатской интуицией они тоже почувствовали в Щукине солдата.

Стамбул покидали ночью. Порт был ярко, празднично освещен, и, поскольку до отхода «Великого князя Константина Павловича» еще оставалось какое-то время, отъезжающие и провожающие прогуливались по причалу, отдавая друг другу последние наказы и пожелания. Щукиных провожала шумная семья Рождественских, и лишь незадолго до отплытия на пирсе появился сам представитель российской миссии в Стамбуле Александр Сергеевич Лукомский.

Из тесного кольца, которым окружили Таню Рождественские, раздавались то взрывы смеха, то тихий плач, то восторженные ахи и охи.

Николай Григорьевич ходил под руку с Лукомским. Он и хотел бы быть разговорчивым и любезным, но на ум шли не те слова. Говорили о союзниках, о наступлении красных на Польшу и о некоторых успехах на польском фронте, но в конечном счете пришли к выводу, что ничего хорошего Россию уже не ждет, что к прежнему возврата нет и Париж – едва ли не самый лучший вариант в их бездомной и не очень сытой жизни. Разве что Америка…

– Нет-нет! – холодно возражал Щукин. – Из Парижа хоть краем глаза, хоть издалека можно увидеть Россию. А уж из такой-то дали… Нет!

– Я согласен с вами, – сказал Лукомский. – Мечтаю быть похороненным на родине. На каком-нибудь тихом деревенском кладбище, под березкой или ракитой… Ах, даже это у нас отняли!

Под басовитые гудки парохода сухо, по-мужски попрощались. Таню девчонки Рождественские проводили до сходен, и едва она стала подниматься на корабль, они дружно в голос заревели.

А потом пароход отошел от причала и под причитания Рождественских тихо поплыл по черной, мазутной воде Босфора. В ней отражались тысячи и тысячи огней Стамбула, и казалось, что пароход плывет по не до конца потушенному огромному кострищу. Дополняли эту волшебную картину звезды. Они не висели на небе, а целыми роями проносились по темному небосводу.

– Смотри, папа! – схватив отца за руку, воскликнула Таня. – Звезды падают… Мне мама говорила, что это души умерших улетают в рай.

– Души умерших? – переспросил Щукин. – Что ж, вполне возможно. Сейчас повсюду идут такие бои, что этих душ не перечесть… Ладно, идем в каюту.

– Я еще постою… Красиво!

– Ну хорошо. Постоим вместе.

Николай Григорьевич не хотел оставлять Таню одну, и они еще долго стояли на палубе, любуясь звездным осенним небом. И ушли спать почти под утро, когда Стамбул и его праздничные огни исчезли вдали. Осталось лишь небо, рассыпающееся звездопадом.

Глава вторая

Над полутемным Харьковом тоже висели августовские крупные звезды. На небе разворачивался настоящий спектакль – это наступило время осеннего звездопада.

Ослепительно белые метеориты, косо прорезая небо, неслись куда-то к горизонту, оставляя за собой огненный росчерк. И умирали там, в бесконечной дали, словно тонули в черном омуте. Сердце вздрагивало, когда из холодной пустоты вылетала, как пуля, и разгоралась на бешеном космическом ветру яркая метеоритная молния и неслась над головой, прорезая созвездия, будто простреливая их насквозь.

Павлу Кольцову выделили кабинет в здании ЧК на Сумской. Возвращаясь поздно вечером к себе в гостиницу, он подолгу задерживался где-нибудь на улице и, задрав голову, наблюдал за холодным звездным хороводом. Наверное, это был единственный в мире человек, который в такое смутное время мог позволить себе любоваться ночным небом.

Голодный, измученный бесконечными переменами и чередованиями властей, город к сумеркам затихал, как бы затаивался. Лишь кое-где в погребках звучали пьяные выкрики да на окраинах – то в стороне Ивановки, то Основы или Карачаевки – раздавалась и тут же стихала перестрелка. То ли стрелял патруль, то ли где-то кого-то грабили.

От картины звездопада и от как бы вымершего на ночь города Павлу стало зябко и одиноко. В душу закрадывалось вовсе не свойственное ему чувство тоски. «Это усталость», – уверял он себя, хотя знал, что это не совсем так. Потому что тоска была смешана с чувством тревоги и беспокойства и это чувство с каждым днем росло.

Новый метеорит чиркнул о пространство неба, ярко вспыхнул и тут же погас. И только сейчас Павел заметил, что всегда светлая, ровно и ясно светящаяся звезда сейчас вспыхивает, будто огонь маяка: то полыхнет на миг, то исчезнет в густой, вязкой, как деготь, темноте.

Странно, ни облачка на небе, ни дымка…

Как боевой офицер, полевик, окопник, много раз ходивший с отрядом по ночам во вражеские тылы, Кольцов хорошо знал все особенности звездного неба, все его знаки и приметы. Это лишь для ненаблюдательного человека небо одинаково и неподвижно, а для знатока, к тому же с детских лет проявлявшего интерес к астрономии, небо живое, движущееся, наполненное множеством отличительных черт.

И как по опавшим в роще листьям или распустившимся березовым почкам можно судить о том, какая будет зима или весна, так и звездное небо говорит о многом.

«Почему все звезды горят ярко и ровно, а эта вспыхивает и гаснет? – размышлял Павел. – Знак… Предзнаменование?»

Он мысленно укорил себя за то, что готов впасть в суеверие, совершенно позорное для грамотного человека. «Мигает, ну и пусть. Стало быть, так надо». И усмехнулся. «Подлинно революционный человек отметает все, что не соответствует его теории, как третьестепенное и незначительное…» Кто это сказал? Кажется, Троцкий.

Похоже, за время своей работы в тылу, в ЧК, он становился все более циничным. Впрочем, посмеивался он прежде всего над самим собой, а это признак духовного здоровья…

Размашисто и уверенно Кольцов зашагал дальше по Екатеринославской, к своему «Бристолю». От пустующей квартиры Ивана Платоновича он отказался. Далековато да и опасно: он сейчас стал хранителем такого количества тайн, что не имеет права рисковать собой. Хотя в глубине души знал: если бы в хибарке неподалеку от дома Старцева могла появиться Лена, он бы наплевал и на расстояние, и на опасности. Вот промелькнула в его жизни женщина, как метеор, как звездочка, – и исчезла, а в его душе до сих пор боль от этого коснувшегося его огня.

Мимолетная встреча. А он все помнит. До сих пор кажется, что руки пахнут полынью. Слышится ее тихий голос, ощущаются прикосновения, поначалу робкие, стеснительные, потом более откровенные. Неужели одна ночь может так привязать к человеку?

Может быть, это был тот редкий случай, когда вот так сразу, в считаные часы, даже минуты открываешь родственную душу? Как же отыскать ее, Лену, в этой кутерьме Гражданской войны? Тут даже он, полномочный комиссар ЧК, бессилен.

В «Бристоле» пахло карболкой, хлоркой и еще какой-то гадостью, которой щедро поливали полы и стены для дезинфекции. Этот запах только усиливал тоску.

К счастью, Павел жил не один. Он делил гостиничный номер со своим сослуживцем, фронтовиком, потерявшим где-то в донских стычках глаз и переведенным на работу в ЧК. Был он смешлив и по поводу своего увечья не особенно переживал. «Меньше вижу, меньше с меня и спрос», – пояснял сосед. К Павлу, старшему по должности, он относился уважительно. Да и звали их одинаково, только фронтовик представлялся на украинский манер: Павло.

Павел увидел его в вестибюле, где от былой роскоши остались лишь бронзовые кольца на парадной лестнице, куда когда-то вставлялись штанги для крепления ковров, зеркала и люстра, вечно темная, но днем переливающаяся цветами радуги, да еще постаменты, на которых в былое время стояли бронзовые амурчики и психеи. Сосед-чекист, худой, вихрастый, с пиратской повязкой на лице, шел, держа в руке помятый медный чайник.

– А я тебя, брат, давно поджидаю! – радостно заулыбался он. – Вот как раз на ночь чайку хлебнем, чтоб в пузе не урчало. Я и хлебца поджарил на постном масле…

От такой приветливой встречи Павел повеселел. Чай пили с колотым сахарком. Все же хозуправление ЧК старалось в меру прилично снабжать своих сотрудников.

– Земелю своего встретил. Он в оперативном отделе работает, – макая сахар в налитый в блюдечко чай, сказал Павло. – Во где работенка! Мы вот с тобой чаи гоняем, а они там иной раз до утра не расходятся.

– Это уж кому что на долю выпало, – улыбнулся Кольцов. – Хотя и у нас служба не мед.

– Ну да, – согласился сосед и добавил: – Особенно в последнее время, когда с Махной не поладили.

– Да мы с ним давно не ладим.

– Во-во!

– А надо бы поладить! Я-то эту публику, как вот тебя, видел, – хрустя сахаром, сказал Кольцов. – В основном гречкосеи, селяне. Только задуренные очень.

– Тебе виднее, ты на этом деле сидишь.

Кольцов действительно по просьбе председателя ВУЧК Манцева занимался сейчас разработкой «дела Махно». После пережитого в тылу у махновцев он в одну минуту стал знатоком и специалистом по банде. Особенно после того, как выяснилось, что Левка Задов, кроме Кольцова, ни с кем в переговоры не вступает.

Манцева интересовало, возможно ли примирение и какой ценой. Несмотря на нехватку помещений, Василий Николаевич выделил Кольцову просторный кабинет и даже нашел ему хорошего помощника – отдал своего адъютанта, парнишку-самоучку из крестьян Глеба Пархомчука, очень толкового и расторопного. И даже средства на агентурную работу выделил, хотя такой статьи «для Махно» во Всеукраинской чрезвычайной комиссии предусмотрено не было.

Кольцов дал свое согласие заниматься этим делом. Он видел, как трещат тылы под натиском махновских отрядов. Харьков, правда, «повстанцы» штурмовать не стали: не прошли зря беседы Кольцова с Левкой Задовым. Но окрестным городам досталось. Все, что большевики сшивали днем, махновцы распарывали ночью, и ножи у этих горе-портных не тупились.

Видимо, надо решительнее настаивать на том, чтобы Нестор Иванович вливался со своей дивизией в ряды Красной Армии. Он уже было соглашался, но продолжал вести какую-то дет-

скую игру: «Комдивом не пойду. Хлопцы засмеют. У меня ж армия. Ежели назначат командармом, как Сеньку Буденного, и со всеми другими вытекающими – можно и подумать».

В конце концов, черт с ним, пусть будет командармом. Ради такого дела можно бы и поступиться своими амбициями. Так ведь нет же! Не хотят! Упираются.

– Я с тобой про Махна не просто так разговор затеял. Хочу тебе по секрету кое-чего сказать, – со звоном ставя на тумбочку чашку с блюдцем, решительно начал сосед. – Это так, для сведения. Земеля мой просил предупредить, чтоб никому ни полслова.

Кольцов насторожился, тоже отставил стакан, прямо поглядел в единственный глаз соседа.

– Ну говори же!

– Земеля видел бумагу, тебя касаемую. Ну не впрямую, конечно. Вроде как оттуда. – Сосед поднял вверх пожелтевший прокуренный палец. – Не то от Склянского, не то от самого Троцкого… Земеля так прикинул, что раз мы с тобой вроде как однокорытники, то не худо тебя предупредить, что там… – Сосед вновь ткнул пальцем вверх. – Недовольны мягкостью к банде Махно. Что, дескать, пора тебе проявлять пролетарскую непримиримость и все такое…

Кольцов нахмурился. Само предостережение не было для него новостью. Он уже и раньше ощущал сгущающиеся тучи – как тогда, перед встречей с Дзержинским, который, используя свое влияние, как бы в одночасье отсек от него все нападки и обвинения.

Но сейчас не было рядом Дзержинского. А он, Кольцов, возможно, чего-то недопонимает в самой сути своего ведомства. Или оно не понимает его, Павла Кольцова. Дзержинский мог бы все разъяснить, помочь, а если заслужил, то и отругать.

– Я к чему веду, Паша, – прервал его размышления Заболотный. – Тут как бы вырисовываются две точки зрения. Ты – за то, чтобы мужиков как можно больше спасти, этих самых гречкосеев, а они там – чтоб революционную принципиальность соблюсти. Словом, оглядись по сторонам, с Манцевым Василь Николаичем посоветуйся, еще с кем, только не ссылайся на моего земелю…

– Само собой, – кивнул Кольцов.

Глядя своим единственным глазом в стол, Павло с тяжелым вздохом сказал:

– Как-то все непросто. Вот, казалось, надо только врагов разбить – ну генералов, помещиков, буржуев. И все! И победа! А тут крестьяне вмешались. Сам по сводкам знаешь: кругом мужицкие восстания. Мужик – ему всякая там теория, принципиальность – все это воздуха´, бздушки. Он хозяйствовать желает.

– Естественно, раз ему землю панскую дали, – согласился Кольцов.

– То-то и оно! Выходит, получил, что хотел, а теперь повернул против большевиков. Я такого дела, Паша, своим простым умом понять не могу.

– Думаю, не только ты. Наверху все разговоры сейчас о мужике. Троцкий, например, предлагает демобилизовать армии и создать совхозы. По военному образцу, с военной дисциплиной. С техникой, со специалистами, агрономами. Но главное – с военной дисциплиной.

– Пустое! – Павло поднял голову. – Хлеб по приказу не вырастишь. Хлеб – мужицкое дело, его забота. Мужика не обойти, нет. Он душу в землю вкладывает. Как бы беды не вышло.

– Да, беда, брат, уже вышла, – вздохнул Павел.

– Вот и я так думаю. В нашем селе пятеро ушли к Махно. Все справные хозяева, трудящие. Не хотят задарма работать. Вроде надо теперь на голытьбу надеяться? Как же! Я сам из голытьбы. Хлеба мы не дадим, навыка того нет. Воевать за большевиков – это пожалуйста. Это другое. Но война не земля. Хлеба не родит. Значит, и впрямь надо к справному мужику поворачивать, на свою сторону его перетягивать. С оглядкой, с умом… Как лиса к ежу подходит, видел? С хитрецой да с уважением.

Павло неожиданно закончил разговор:

– Ладно! Тут в этих делах голову сломать можно… А вот ты, Андреич, мои слова учти, будь поосторожнее. То ли ты возле огня ходишь, то ли огонь возле тебя. Ты человек своего, незаемного ума, да только это иногда и припрятать нужно. С родной бабой и то иной раз хитрить приходится. Как же! А тут не баба, тут революция, она любит, чтоб подчинялись.

Чай допивали молча. Кольцов думал о том, что, может быть, зря он не настоял на немедленном переводе в Москву, в Иностранный отдел ВЧК, как того хотел Феликс Эдмундович. Может быть, это действительно была бы для него настоящая работа. Но что сделано, то сделано. Чего теперь после драки кулаками махать. А то, что сказал Павло, совсем не лишнее. Надо думать… думать…

Сейчас махновцы вроде бы собираются на восток, на Дон. С одной стороны, будет немного полегче войскам, ведущим борьбу с наступающим Врангелем, а с другой – что, если Махно снова подожжет Дон? И это тогда, когда захлебывается наступление красных войск на Варшаву. В последнее время Кольцов недоумевал, как это главком Каменев, командующий Западным фронтом Тухачевский и, конечно, председатель Реввоенсовета Троцкий, пригнавший свой бронепоезд к Белостоку, чтобы руководить наступлением «на месте», допустили наступление на польскую столицу.

Революционный азарт, нетерпение? Он, Кольцов, конечно, не стратег, но хорошо понимает всю опасность такого наступления. Срочно необходимо подкрепление. Если бы Махно послушался тогда совета этого никому не известного Сталина и пошел на Галицию (Левка донес ему обо всех спорах по этому поводу в махновской верхушке), генералу Вейгану, которого прислали из Франции на помощь Пилсудскому, пришлось бы снять с Вислы свои лучшие броневые силы…

– Знаешь что, браток Кольцов, – сказал Заболотный с сочувствием. – Вижу, затронуло тебя мое предупреждение. Извини. От души. Но ложись-ка ты лучше спать. Утро, как известно, вечера мудренее, а утро уже через четыре часа. Какой будет толк от твоей головы, если в ней сонные мухи будут жужжать…

– Верно, – согласился Кольцов, прикрутил фитиль лампы и задул огонь.

Вмиг высветилось огромное окно, а за ним небо с августовскими звездами. Павел пошире отворил створки. Прохладный, уже припахивающий осенью воздух наполнил комнату.

Нет, совсем не тиха украинская ночь. И не только в Таврии. Плодородный край, окружающий подступы к Крыму, полыхает огнем войны. Вся хлебная Украина затянута густым военным дымом. Нападают, вырезают, рубят, расстреливают, взрывают. Да что республика? А разве на Дону, на Волге, в Сибири не разлились бурным, смертоносным половодьем восстания?

Свой со своим дерется насмерть.

Самый сильный огонь – на западе, у Вислы. Недавно еще Польша была частью России, жила посытнее, чем иные русские губернии. Рязанские мужички ездили на заработки в Сандомир и Люблин, купцы – в Лодзь за мануфактурой, а питерские и московские евреи коммерсанты отправлялись в польскую столицу за «варшавским серебром»: изделиями из мельхиора, столовыми приборами, супницами, конфетницами. А взамен в Польшу везли вологодское и сибирское масло, оренбургскую пшеницу, вятский лес…

Жили как люди. Когда это было? Кажется, в незапамятную пору, до Рождества Христова. Сейчас Польша наспех создала мощную армию, техникой ее снабжает вся Европа, обучают австрийские и французские офицеры, и она на равных борется с Россией. Для поляков это битва за «ойчизну», для Европы – сражение с коммунизмом, который, охватив умы русских, рвется с востока туда, где он зародился, к немецким, французским городам.

У Белостока, где скрещиваются железнодорожные пути, ведущие с севера на юг и с запада на восток («Ворота в Польшу»), стоит под парами поезд Троцкого.

Все знают: Троцкий – глаза и уши Ленина и его карающая длань. Троцкий – это Революция.

Это он, подавляя сопротивление военачальников первой волны, вождей, батек и партизан, насытил красные полки и дивизии военспецами, знатоками стратегии и тактики. Кто из бывших генералов, полковников и поручиков пошел по принуждению, кто – за пайком, кто примазался к силе, кого заставили согласиться взятые в заложники семьи, но многие пошли за веру. Не в царя и отечество, не в коммунизм, нет – в Троцкого, этого очкастого, козлобородого ученого еврея, который взялся возродить империю под красными флагами. Что там империю! Как Наполеон, он замахивался на всю Европу.

Решительности и смелости в нем оказалось больше, чем у благообразных выучеников Генерального штаба и царских сановников, которые долго позволяли революции подтачивать фундамент величайшей в мире страны.

В комнате полыхнуло, будто на мгновение зажгли электричество, – это мимо окна пронесся огромный метеорит.

– Слышь, Кольцов, куда ж они падают? На землю? Отяжелеет ведь земля, провалится…

Кольцов ничего не ответил. Поворочался немного. Но мысли о Троцком, о его непримиримой, лютой ненависти к Махно не покидали его, не давали уснуть.

Призывая сон, Павел зарылся в подушку лицом. Недавний разговор не давал покоя. Кольцов понимал, что вступил в споры с недюжинной силой. И надо было как-то держаться. На него надеются. Такие, как Левка Задов и многие тысячи запутавшихся в дебрях свободы людей.

Глава третья

В Белостоке, на белорусской земле, стоял огромный, устрашающего вида поезд. Два окованных сталью паровоза тяжело пыхтели и курились паром. Они были готовы к отбытию, в любой миг могли сдвинуть с места длинную цепь вагонов. Даже тот, с зашторенными окнами, где ярко сияли голубоватые электрические лампочки (ток непрерывно подавала мощная поездная электростанция). В вагоне шла напряженная штабная работа, оттуда исходили циркуляры и, звеня шпорами, то и дело вылетали рассыльные.

А по ночам, когда вокруг все стихало, в закрытом купе, щуря бессонные глаза, скрытые толстыми линзами очков, Лев Давидович Троцкий писал пламенные статьи. Днем у него это получалось хуже.

Язвителен, остроумен, образован. Троцкий – гений революции. Статьи его разят наповал, возбуждают общий интерес. Ими зачитывается вся Европа. Да что статьи! А его речи! Его голос! Высокий, надтреснутый, но доходящий до каждого сердца голос Льва Давидовича останавливал бегущие полки, обращал противников в союзников, переворачивал, вытряхивал, как старые перины, сложившиеся убеждения, укреплял нестойких и творил победу там, где поражение уже казалось неизбежным.

Троцкий первый превратил эфир в поле политической битвы. На радиоволнах он схватился с мастером полемики Клемансо, изобличавшим и громившим большевиков. Тонкий писк морзянки разносил мысли и слова Льва Давидовича по всей Европе. Захваченная новой властью, мощная царскосельская станция поразила высотные антенны Эйфелевой башни. И Клемансо примолк, сраженный энергией, смелостью, образностью речи своего противника. Примолк потому, что Троцким стала заслушиваться вся Франция, его избиратели. А ведь это была всего лишь морзянка. Клемансо не довелось услышать живую речь Троцкого, его саркастический голос, которым он подкреплял убийственные аргументы.

Недаром Троцкий провел несколько лет в Вене, где под руководством Зигмунда Фрейда и его ученика Альфреда Адлера изучал психологию толпы. Он готовил себя в вожди, он знал, чего хочет. Как чуткий сейсмограф, он ощущал, как огромную, но не скрепленную внутренним единством Россию уже раскачивают волны революции. А там, где революция, там толпа, жаждущая вождя. Она непостоянна и неуверенна в себе, как ветреная женщина, и ей нужен кумир, хозяин.

Лев Давидович ждал своего часа. И дождался. Он гремел и разил наповал. Его приказы, как и его речи, были кратки, красочны, точны. Он не боялся крови. Чужой. Если, случалось, не действовали его речи, окружавшие его «братишки», балтийские матросы, влюбленные в Троцкого, пускали в ход пулеметы. Это был последний и самый веский аргумент, и действовал он всегда безотказно. Бегущие останавливались, колеблющиеся превращались в стойких бойцов. Толпа любит кнут, словно балованная лошадь, которая, брыкаясь и бросая повозку из стороны в сторону, подставляет круп под хлесткий удар бича, она хочет, чтобы ей помогли совладать с самой собой.

В девятнадцатом, во время неудачи под Свияжском Троцкий, не задумываясь, расстрелял нескольких красных командиров и комиссаров, которые проявили мягкотелость. Ленин, восхищенный решительностью своего ближайшего соратника, прислал ему написанный красными чернилами (на бланке Совнаркома, украшенном штемпелем) мандат: «Зная строгий характер распоряжений тов. Троцкого, я в абсолютной степени убежден в правильности, целесообразности и необходимости для пользы дела даваемого тов. Троцким распоряжения». И в конце от руки добавил, что и впредь будет ставить свою подпись под любым распоряжением Льва Давыдовича.

Это был триумф, который вознес Троцкого на высоту, с которой уже ничто не могло его свергнуть. И выше уже трудно было подняться. Выше Ленина? А зачем? Как военный руководитель страны, как вождь армии он и так был выше.

…За окном вагона пыхтят паровозы, горит яркий свет. Троцкий пишет очередную статью, призывающую к решительному бою за Варшаву. Тонкие, костлявые пальцы устают. Он отбрасывает вечное перо и вызывает стенографов, своих верных помощников Глазмана и Сермукса. Те тотчас входят, словно ждали его за дверью.

– А на небе-то что творится, Лев Давыдыч! Прямо фейерверк какой-то! – снимая шинель, восхищенно произносит Глазман.

– Стреляют?

– Да нет. Звезды. Никогда раньше такого не видел. По всему небу. Туда-сюда. Кра-асиво-о!

– Звезды? – переспросил Троцкий и сухо добавил: – Ну да. Август, – и без передышки, словно боясь потерять основную мысль статьи, сразу же начал диктовать.

Сермукс торопливо схватился за карандаш.

Лев Давыдович умеет говорить так, что слова тут же, без всяких заиканий, четко ложатся на бумагу.

Поезд тоже словно ждет окончания диктовки. Вагон с высоко поднятой на растяжках антенной готов бросить текст статьи в эфир. Слова Троцкого тут же будут пойманы и царскосельской станцией, и Эйфелевой башней, и уходящими в облака антеннами Науэна в Берлине. Пронесшиеся над всеми границами слова, тотчас переведенные с языка Морзе, лягут на газетные полосы. Но раньше всех их наберут рабочие вагона-типографии. Там уже слышен гул плоскопечатных машин…

В вагонах-гаражах застыли легковые и бронированные автомобили. С бронированной площадки смотрит в небо зенитная трехдюймовка. В вагоне-клубе сражаются в шашки свободные от дежурства матросы, охранники поезда, составляющие целую роту. Недаром за «поездом Троцкого» следует еще один, служебный, с теплушками, конюшнями и товарными вагонами для продовольствия, сена, боеприпасов.

Не стихают гул и людской гомон и в вагоне-бане: здесь моются прибывшие с фронта балтийцы, которые заградотрядами вставали на пути тех, кто самовольно снимался с позиций. А случалось, и они вступали в бой там, где прорывался противник. В предбаннике висят их бушлаты и фланельки с нашитыми на левые рукава металлическими, со всей тщательностью отлитыми на монетном дворе голубоватыми щитами с перекрестьем красных мечей и надписью выпуклыми буквами: «Бронепоезд председателя РВСР». Для паникеров, оставивших позицию без приказа, для горлопанов и смутьянов этот знак – символ смерти. Страшный знак, как и весь поезд, представляющий собой военный город на стальных колесах. Сухопутный линкор.

Лев Давидович диктует. Но он уже знает, что сражение в Польше будет проиграно. Неминуемо отступление. Еще совсем недавно он сам торопил своего любимца и выдвиженца, двадцатисемилетнего командующего Западным фронтом Мишу Тухачевского: «Даешь Варшаву!» И Миша, выпятив свой наполеоновский подбородок, гнал победоносные дивизии вперед, к Висле. Тылы отстали. Коммуникации растянулись. Снабжение стало слабым. А тут еще саботаж на дорогах. Пока шли по тем районам Польши, где проживали преимущественно белорусы, украинцы, которые еще не успели превратиться в истинных католиков, Красную Армию встречали традиционно как русскую. Но под Вислой вышел другой коленкор. Тут патриот – поляк.

А Франция успела нагнать сюда целые стаи самолетов и полчища броневиков. Добровольцы, желающие воевать с большевиками, наехали сюда со всей Европы, даже из Америки. В самый раз перейти бы к позиционной обороне, но и на это уже не было времени. И конфигурация наступающих войск не позволяет: выдвинутые вперед части оказались уязвимыми с флангов.

Но самое главное – он, Троцкий, вместе с Дзержинским дали политическую промашку. Обширные панские земли, фольварки стали раздавать самым бедным, батракам, голытьбе. А в Польше в большинстве своем крестьяне – собственники-середняки. Тут даже белорусы возмутились. Не отозвались на мобилизацию. Голытьба же была неорганизованной, затюканной, на нее нельзя положиться было.

Ох уж это крестьянство! До чего же оно мешает марксистской доктрине! Всю картину портит…

Троцкий, правду говоря, противился мысли Дзержинского о раздаче земли. Но поддался на уговоры, не устоял, уступил. Значит, и ответственность им делить поровну.

Впрочем, перед кем отвечать? Будет так, как будет, – ничего уже изменить нельзя.

Троцкий знал, что Дзержинский восхищается его деловыми качествами и во многом даже старается подражать своему кумиру. Не знал он только одного – что за внешними проявлениями дружелюбия председателя ВЧК скрывается глубокая личная неприязнь. А причина этого тянулась из далекого прошлого.

Великие революционные страсти часто рождаются из мелких человеческих грешков и пристрастий. Однажды ранней осенью Троцкого и Дзержинского ссылка свела на несколько дней в далекой Сибири. Будущий председатель ВЧК решил прочитать будущему председателю Реввоенсовета свою поэму.

Всегда сдержанного Феликса Эдмундовича растрогали красота сибирской осени, желтизна остроконечных лиственниц, весь этот поэтический пейзаж. Кроме того, ему очень хотелось показать своему высокообразованному сотоварищу по ссылке, что и он, худой, сумрачный, молчаливый польский аскет, не чужд высокой поэзии.

Стихи были о любви и должны были, как показалось Дзержинскому, тронуть Льва Давидовича, тонкого ценителя всего прекрасного.

Он читал, чуть прикрыв свои зеленоватые, искрящиеся глаза и подняв кверху худую, с синими ручейками вен руку. Польские слова звучали напевно, их выспренность подхватывалась теплым осенним ветерком. Дзержинскому было известно, что Лев Давидович хорошо знает польский (как, впрочем, и французский, немецкий, английский, украинский и латынь). Такой знаток поэзии не мог не оценить вдохновения польского поэта.

Троцкий был образован, обладал саркастическим умом, столь важным для революционера-полемиста и совершенно неуместным в ту минуту, когда Дзержинским овладел романтический порыв. Троцкий про себя отметил дилетантизм поэмы и бесконечное повторение слова «кохана».

Когда Дзержинский на мгновение приоткрыл свои большие, отливающие голубизной веки, то увидел лишь ироническую усмешку слушателя. Поэт смолк.

Троцкий неловко постарался сгладить свою бестактность шуткой, которая и стала настоящей пропастью между этими людьми. Обняв Дзержинского за плечи, он сострил:

– О, моя кохана, как мне потребна ванна…

Это была шутка, понятная тогда каждому: ссыльных мучили непременные спутники – вши.

Поэт был оскорблен в своих лучших чувствах. И, обладая жесткой, злой, непроходящей памятью, он уже никогда больше не мог простить «Льву Революции» ту ироническую ухмылку.

– Ты хороший поэт, Феликс. Я никогда и не подозревал… – Такой отзыв о своей поэме Дзержинский услышал от другого товарища по ссылке – грузинского поэта Иосифа Джугашвили, которому читал свое сочинение чуть раньше.

Да, Сталин, не в пример Троцкому, оказался очень доброжелательным. И в ответ тоже прочитал Дзержинскому свои стихи на грузинском, совершенно непонятном для Феликса, но очень звучном и красивом языке.

Эти эпизоды определили симпатии и антипатии Дзержинского, которые он пронес через всю свою недолгую жизнь. Великое смешалось с малым, и эта мешанина вскоре должна была всколыхнуть русскую историю…

Троцкий диктует, призывает к последнему усилию, а сам посматривает на карту. Уже обозначился коварный удар Пятой польской армии на север, усиленный прибывшим из Франции корпусом генерала Галлера. Цель удара – отрезать далеко вырвавшийся вперед, славный конный корпус Гая и Четвертую армию Шуваева, а затем прижать и вытеснить их в Восточную Пруссию, где они тут же будут интернированы немцами…

Поражение? Похоже! Первое в жизни Льва Давидовича крупное поражение. Резервов, даже просто второго эшелона, у него нет. Эх, если бы не Врангель, не Махно, сколько бы дивизий и эскадронов пришло на помощь! Но и барон, и анархистский вождь – слабое оправдание. Вину лучше всего валить на своих. Это понятнее. Свой всегда под рукой, всегда готов к разносу, упрекам, обвинениям.

Почему под Львовом задержался Юго-Западный фронт? Надо было идти на Варшаву, брать ее в кольцо. Да, Егоров и Сталин, несомненно, виноваты. Командующий фронтом и только что посланный туда членом Военного совета грузин. Егорова можно понять, он не хотел оголять южный фланг, снова открывать полякам дорогу на Житомир и Киев. Но Сталин… он должен был принять верное политическое решение.

Несомненно, Сталину Троцкий многое сможет поставить в вину. И никуда этот косноязычный, ничтожный грузин с жалким образованием и низким, скошенным лбом, выдающим скудость ума, не денется. Ленин много раз мирил Троцкого со Сталиным: не хотел лишаться кавказца. Россия – страна полувосточная, а у Сталина на юге авторитет, он там свой. И все-таки он, Троцкий, используя поражение, превратит его в конечном счете в победу. В личную победу над этим жалким марксистом-эпигоном. Что сможет противопоставить его обвинениям Сталин? Свой хмурый, исподлобья, взгляд? Свою молчаливость? Сдержанность? «Нет, это не сдержанность – это недалекость…» – размышлял Троцкий.

А дальнозоркий кавказец тем временем изо дня в день плетет свою паутину, терпеливо ожидая часа, когда Россия устанет от пылких ораторов и идеи вечной революции. И не только вас, Лев Давидович, настигнут гнев и кара не умеющего прощать кавказца, но и все семя ваше, ваших дочерей и сыновей. И останется вдовой в далекой Мексике лишь любимая жена, дочь казацкого старшины Наталья Ивановна Седова, которая преступила проклятие родного отца, навсегда полюбив пламенного революционного оратора с задранной кверху острой бородкой. Но все это случится позже – не сразу съедает Революция любимых сынов…

Лев Давидович закончил диктовку, протер воспаленные глаза, приподняв над покрасневшей переносицей очки. Его секретарь Нечаев принес только что полученную из Реввоенсовета, от Склянского, расшифрованную первоклассными, еще царского образования, криптографами, телеграмму.

Троцкий привычно продергивает длинную ленту сквозь пальцы, как сквозь валики. Читает быстро. Склянский замещает Троцкого на время поездок на посту председателя Реввоенсовета, полномочия его неограниченны, знания политической обстановки безупречны.

«…Начались переговоры о перемирии с Махно, который сейчас направляет большую часть своих банд в Донскую область. Сторонники перемирия утверждают, что Махно может стать союзником в войне против Врангеля…»

Троцкий дочитал телеграмму. Махно – союзник? На день, на два? Уже сколько раз так было. Нет, этого крестьянского вожака необходимо раздавить. Никаких поблажек, никаких иллюзий. И не надо отдавать ему часть лавров в победе над Врангелем. Поражение под Варшавой – это далеко не радость для барона. Теперь он обречен. С Польшей – вот с кем придется заключать перемирие. И освободившиеся войска, конницу Буденного в первую очередь, бросать в Северную Таврию. Он не сумел победить Пилсудского, но отыграется на Врангеле.

Народ должен знать, что Лев Давидович заканчивает войны только победой и ни на какие компромиссы с врагами не идет.

– Зашифруйте и передайте Склянскому следующее, – отрывисто бросил Троцкий. – Реввоенсовет может пойти на перемирие с Махно только как на хитрость. Можно – предположительно – поставить махновцев на участок фронта, который станет ловушкой. Прижать их со всех сторон. Махно – враг пролетарской революции, и иного определения быть не может. Наше оружие – пуля, оружие сопливых либералов – носовой платок. Следует изолировать и политически обезвредить сторонников полного примирения с Махно, дискредитировать их. Найдите для этого возможности и средства…

В полевом штабе Реввоенсовета в Москве, в Лефортове, Эфраим Маркович Склянский незамедлительно получил указания Троцкого. Они понимали друг друга с полуслова. Склянский был подлинной находкой Троцкого. Этот молоденький военврач, впервые проявивший себя на северо-западе в восемнадцатом, куда был назначен с комиссарскими полномочиями, привлек внимание Троцкого безукоризненной исполнительностью и жесткостью. Разваливавшуюся армию, которая никак не хотела из царской превращаться в Красную, митинговала, отступала перед белополяками и немцами, бросала оружие, он за две недели превратил в действующее войско. Для начала расстрелял каждого десятого. Потом еще раз каждого десятого.

Главком Вацетис, называвший русских солдат свинским сбродом, приказы Склянского утверждал с восторгом. Мягкотелый, царского воспитания генерал Снесарев и казацкий старшина Миронов, не сумевшие справиться с задачей, были направлены на другой участок.

Решительность Склянского сочеталась с дьявольской трудоспособностью. Вот только в отличие от Троцкого он не был оратором. Впрочем, оно и лучше. Больше времени оставалось для черновой, но такой необходимой работы.

Именно Склянский создал в Реввоенсовете незаметный отдел со скучным названием – Регистрационный. Этот отдел занимался шпионажем и контршпионажем, конкурируя с ЧК, оплетая ведомство Дзержинского своими щупальцами.

Впрочем, и чекисты не оставались в долгу, стараясь внедрить своих сотрудников в секретный отдел Реввоенсовета.

Склянский понимал всю деликатность проблемы. Указание Троцкого относительно дискредитации сторонников полного примирения с Махно выполнить было нелегко. Конечно, формально этим занимались люди в правительстве и Центральном комитете партии на Украине – Раковский, Косиор и прочие, и доступ туда представителям Троцкого был открыт. Но весь конкретный материал разрабатывался в Укрчека, у Манцева, в обстановке секретности и конфиденциальности.

Все же через три дня на столе у Склянского лежало расшифрованное сообщение из Харькова, посланное секретным сотрудником Регистрационного отдела.

«Предложениями о перемирии с Махно, как известно, занимается по поручению Манцева полномочный комиссар ВЧК Павел Кольцов, пользующийся большим доверием и Манцева, и Дзержинского. Кольцов является сторонником скорейшего примирения и признания Махно. Он не из тех людей, которых можно переубедить или запугать. Необходима серьезная дискредитация этого сотрудника».

Теперь Склянскому оставалось лишь тщательно продумать всю операцию. К счастью, Дзержинского в Харькове не было и появление его ожидалось не скоро. Да и вряд ли Дзержинский вернется в Харьков после польской кампании. Все знали, что в своей борьбе с Махно он не смог одержать победы. Хуже того, он признался Ленину в поражении. Этим и надо было воспользоваться в первую очередь.

Склянский задумался. Он был неплохим человеком и никому не желал зла. Но революция, и опыт Франции это доказывал, является борьбой не только с врагом, но и своих со сво-

ими. Это неизбежно, поскольку, как доказывал великий теоретик Троцкий, всякая революция перманентна.

Много кумиров вознеслись на недосягаемую высоту в последние годы, ну и где они? Муравьев расстрелян, Сорокин и Думенко расстреляны, Миронов чудом избежал расстрела. Григорьева застрелил Махно (блестящая операция Регистрационного отдела). Щорс убит выстрелом в спину, Боженко отравлен, даже любимец Ильича чубатый, чернобородый гигант Дыбенко едва не попал под суд и расстрельную статью.

А кто такой Кольцов? Бывший адъютант генерала Ковалевского. Бесспорно, ловкий, удачливый лазутчик. Но и ничего более. Не вождь, не кумир, за ним не стоят преданные ему полки и эскадроны.

Справимся как-нибудь.

Глава четвертая

В августе раньше темнеет. Говорят, Петр и Павел час убавил, а Илья-пророк два уволок. Уже в восемь часов, в вечерних сумерках, Кольцов покинул свой кабинет и направился на улицу Рыбную, где, впрочем, рыбой и не пахло. Но Павла в этот вечер ждал собственный улов. Здесь, на конспиративной квартире, где проживала пышнотелая вдова бывшего табачного короля Гураса, державшего ранее в Харькове крупную табачную фабрику, Павлу предстояло встретиться с посланцем Левы Задова.

Вдова, как лишенка, то есть лишенная социальных прав и всяческого карточного снабжения, промышляла мелкой торговлей, а потому в ее домишке на Рыбной, куда она была поселена сразу же после бегства белых, всегда толклась уйма разномастных посетителей. В ЧК и в самом деле приветствовали это незаконное занятие вдовы, так как оно давало возможность устраивать здесь встречи, которые в иных условиях вызвали бы подозрение соседей.

Павел приостановился у массивной филенчатой двери и дернул рукоятку звонка. Хозяйка, изучившая разнообразные манеры своих посетителей, узнала Павла по звонку и, быстро прошелестев по коридору, без всяких расспросов открыла дверь.

– Здравствуйте, Павел Андреевич, – сказала она, расплываясь в улыбке, словно при виде близкого родственника.

Да и было ей за что уважать полномочного комиссара и вместе с ним все ЧК. Содержание квартиры давало ей недурные средства к существованию. К тому же ей разрешили перевезти в кладовку из своего старого дома несколько сот упаковок папирос «ГиМ» («Гурас и Максимов»), чтобы иметь первоначальный капитал для «коммерции».

– Здравствуйте, Клавдия Петровна, – поклонился Кольцов довольно сухо.

Но полная, улыбчивая, вся как бы состоящая из округлостей и ямочек, пятидесятилетняя вдова излучала добродушие и приветливость, так что Павел в конце концов не мог не улыбнуться.

– Меня никто не спрашивал? – поинтересовался он.

– Пока нет…

Клавдия Петровна тут же поставила на стол стакан чаю – настоящего, душистого, положила собственной выпечки кренделек и початую пачку папирос «ГиМ».

«Хорошие папиросы, отменный чай, сдоба – так недолго привыкнуть к оседлой нечекистской жизни», – усмехнулся про себя Павел. Однако кренделек съел с аппетитом. Отвык от домашнего…

– Соседка все грозится жалобу на меня накатать куда следует, – пожаловалась Клавдия Петровна, улыбаясь, но с некоторым беспокойством в голосе. – Мол, за счет чего хорошо живу? Зависть. Ох, зависть! Раньше завидовали и теперь завидуют… А я вот завидую, что у нее муж живой и детей троечко, не одна живет… Кто ее знает, в какое ведомство ее понесет, как бы несогласованности не вышло.

Кольцов посмотрел на вдову – за этой простотой и добродушием скрывались и ум, и сметка. Что ж, такая им и нужна.

– Мы вам бумагу выправим от городских властей, – сказал он. – Мол, ваш покойный муж жертвовал на революционные нужды. Обычное дело.

– Вот спасибо, – успокоилась Клавдия Петровна. – Кабы все такие большевики были… внимательные.

Кольцов знал, что табачный король, муж Клавдии Петровны, был замучен первым комендантом харьковской ЧК знаменитым Саенко – живодером и садистом, как оказалось впоследствии, когда его судила и приговорила к расстрелу «тройка».

– Большевиков не на фабрике, как ваши папиросы, делали, – сказал Кольцов. – Всякие попадаются.

– Да и папиросы тоже разные, – весело отозвалась вдова. – Бывает, придут такие свитки табаку – все как есть паровозным дымом пропахшие, – уж мой-то и сушил их, и ароматы всякие добавлял…

– Да-да… – думая о чем-то другом, кивал головой Кольцов. Он достал часы – подарок Манцева. Время в этом уютном, теплом доме тянулось медленно. Его клонило в сон. Вот что делают с человеком довольство и сытость… Нет, уж лучше сидеть в своем кабинете в окружении одних сейфов.

Несколько раз резко звякнул звонок, выдавая нетерпеливость пришедшего. Кольцов вместе с хозяйкой подошел к двери.

– Сальцо на табачок не поменяете? – пробился сквозь дверь сиплый шепоток. – Волчанские мы, хлеборобы…

Кольцов кивнул. Клавдия Петровна открыла дверь. Увидев Кольцова, гость смело шагнул в дом, внеся вместе со свежим вечерним воздухом запахи конского пота, кожи и деревенского самосада, которым были обкурены его вислые усы. Весь он был кудлат, нечесан и неповоротлив – по крайней мере здесь, в городском доме, он двигался как-то топорно и неуклюже. Но Кольцов знал, что Петро Колодуб может быть ухватистым и ловким, если дело дойдет до боя или простой драки. Это он вместе с Левкой Задовым провожал их через болото, когда Кольцов направлялся к дому Доренгольца. Он был предан Левке, как верный пес, и при упоминании имени своего командира всегда настораживал поросшие волосом уши.

Стул под Колодубом жалобно скрипнул, отчего Клавдия Петровна даже вздрогнула: положительно, Задов подбирал статных хлопцев.

– Голодный? – спросил Кольцов.

– Я? – удивился Петро. – Я поранку сала фунта полтора зъим – и весь день сытый. А чего час вытрачать! Дело делать надо.

Глаза у него были упрятаны глубоко под выступающие надбровья. Внешняя простоватость скрывала крестьянскую сметку и наблюдательность.

Пачку «ГиМа» он отодвинул, считая папиросы барским баловством, и, взглянув на хозяйку, как бы спрашивая разрешения, стал сворачивать свою козью ножку из газетной бумаги. Клавдия Петровна, замахав руками, словно от подступившего дыма, ушла из комнаты: свое дело знала, приучилась. Крепко, со скрипом, притворила за собой створки двери…

– Бумаги от Махно я читал, знаю, – сказал Кольцов, сразу приступая к делу. – Но это сведения недельной давности. А что хлопцы говорят сейчас, какое настроение? Что думает Задов?

– Хлопцы на Дон идти раздумали, – сказал Петро. – Первые отряды ушли. Говорят, казаки подниматься супротив советской власти не хотят. Устали. И голод у них начинается – поля голые. Как и у нас, на гуляйпольщине… На Врангеля наши готовы пойти, бо боятся, что тот панов вернет. Но тут тоже сварка промеж своими идет: вишь, Врангель обещает за пятую часть урожая – правда, на пять только лет – закрепить все отобранные у панов земли. А дальше что?.. Отряды Волошина, Гнилозуба, Яремного уже подались до Врангеля, кинули батьку. Если и вы будете вот так прохлаждаться, как вол сено жует, тоже при пиковых интересах останетесь.

– Ну и какой же твой совет? Что надо сделать, чтоб хлопцы к нам подались, в Красную Армию? – спросил Кольцов.

– В Красную не подадутся. Комиссарское сало уже пробовали. Но примкнуть, как армия, до вас могут. Для этого первое – амнистия и шоб всех наших из тюрем повыпустили. И шоб на селе, хучь бы и в гуляйпольском уезде, разрешили нашу власть. Ну пущай будет вроде кордона: тут – вы, а тут, значится, мы. И комиссаруйте у себя, будьте ласковы, а у нас селяне сами разберутся, кому власть дать, а кого нагайкой выпороть… Ну и еще одно, дюже важное: возьмите

наших ранетых до своих госпиталей. Бо мучаются и вмирают без лекарствиев, без бинтов. Сам батько, вы же знаете, на ногу не ступает, надо бы и ему добрячую хирургию сделать…

Колодуб замолчал, пристально вглядываясь в Кольцова, ища в его лице ответы на свои вопросы. Кольцов размышлял. Рассказ Петра подтверждал то, о чем он и сам уже давно думал: необходимо перемирие. Но, несмотря на согласие и поддержку Манцева, предложения Павла подозрительно долго решались в самых разных инстанциях. И чем настойчивее вел себя Кольцов, тем сильнее отвечала ему тайная пружина сопротивления. Гигантская машина Гражданской войны словно бы уже привыкла питаться потоками крови, и малые ручейки удовлетворить ее не могли.

– А споры по поводу перемирия идут? – напрямую спросил Кольцов.

– Не без этого… Одни вам верят, другие – нет. По-разному, – уклончиво ответил Колодуб.

– Вот и у нас по-разному, – признался Кольцов. – Но, я думаю, перемирия и совместных действий против Врангеля мы все-таки добьемся.

– Дай-то бог, – вздохнул Колодуб без особой, впрочем, надежды. Он порылся за пазухой и вытащил завернутый в тряпицу пакетик. Развернул, протянул Кольцову немного помятый конверт. – Это от Левы. Пишет про то же, только учеными словами… Я так понимаю: ежели будет от вас сурьезный документ, подписанный самыми главными вашими правителями, Лениным чи там Троцким, то мы со своими хлопцами столкуемся. Задов – он умеет слова говорить.

Павел разорвал самодельный, из обойной бумаги склеенный конверт. Пробежал глазами текст, коряво написанный на тетрадном, разлинованном листке. Корпел над письмом, видимо, сам Задов, потея от напряжения и борясь с разбегающимися вкривь и вкось буквами. Знакам препинания Лева объявил войну как классово чуждым элементам.

Кольцов сразу выделил наиболее важное место в сообщении Задова, написанном на неподражаемом суржике, смеси украинского и русского языка, на котором общались жители Левобережья.

«…Наши хлопцы у большинстве у своем Врангеля принимают как лютого врага и никак з им не сойдутся низакакую понюшку но часть з их хоть и малая на посулы генерала отгукается положительно бо сильно не любит большевицку владу и те хлопцы у числе две чи три тысячи человек может чуть боле подались до Каховки у плавни де богато зеленого народу ховается и маю опасение шо они вдарят по красных з тылу поперше шоб з Врангелем задружиться по-друге[1] шоб набрать барахла у красных обозах но батько грозився их розстрилять за таку опозицию только он до их никакого отношения не мает…»

Кольцов сразу понял, что этот рейд части махновцев к низовьям Днепра, к Никополю и Каховке, в плавни[2], представляет огромную опасность. В плавнях и без того скопилось немало «зеленых», не признающих ни красных, ни белых и живущих набегами, как в дикие времена. Эти вооруженные, знающие партизанскую войну хлопцы были взрывчатым материалом, готовым отозваться на самую малую искру. Если отколовшиеся от батьки махновцы уговорят их поддержать Врангеля, может пойти насмарку весь грандиозный план Тринадцатой армии, которая намерена ударить по белым в районе Каховки, переправившись через Днепр. Этого махновцам никто не простит. Поди разберись потом, за кого были батька вместе с Задовым и есть ли в происшедшем их личная вина. Тем более что батька Махно уже не раз выказывал свою хитрость, ссылаясь на своеволие «полевых командиров».

---

[1] По-перше, по-друге (укр.) – во-первых, во-вторых.

[2] Плавни на Южной Украине – низменная, прибрежная часть рек, включая песчаные острова, косы, отмели, затопляемые весенними водами. В остальное время года это труднопроходимые земли, местами рассеченные протоками и старицами, места заболоченные, поросшие буйной растительностью, осокорями, вербой, красноталом, камышом, рогозом, аиром, буйным разнотравьем. Это своего рода украинские джунгли. В плавнях встречаются сухие песчаные места, удобные для жизни.

Все надежды на примирение исчезнут как дым. В плавнях разгорится война, а у Врангеля будут развязаны руки.

– Ты вот что! – сказал Кольцов Колодубу. – Запомни хорошенько и передай на словах Задову. Пусть он срочно отправляется на Днепр, к Каховке. Нельзя допустить, чтобы плавни ударили в тыл Красной Армии. Именно под Каховкой. Иначе красные войска оставят Врангеля и обрушатся на махновцев без всякой пощады. Никому от этого пользы не будет, а кровь прольется большая. Объясни это Задову!

Колодуб, насупясь, сведя вместе густые, в завитках, как овечья шерсть, брови, слушал внимательно, стараясь запомнить каждое слово. Часто моргал от напряжения.

– Все понял и запомнил? – спросил Павел.

– Без сумления, – коротко ответил махновец.

– Тогда спеши. Дело срочное.

– Ну что ж, прощевайте! Моя ночка темная, а дорога кривая.

Колодуб сунул Кольцову тяжелую, заскорузлую ладонь, и Павел выпустил его за дверь на пустынную Рыбную улицу, откуда было с сотню метров до зарослей на реке Харьковке. А спустя минут пять вышел и сам: Клавдия Петровна, учтиво кланяясь и улыбаясь, проводила его, не забыв напомнить о документе от властей, который гарантировал бы ей безопасность и оберегал от соседского злого глаза.

Все хотели перемирия – и все враждовали друг с другом. «А ведь это не пройдет за год или два, даже если наступит мирная жизнь, – подумал Кольцов, оказавшись под звездным августовским небом, где все так же таинственно и предупреждающе мигала звезда. – Мы уже привыкли к взаимной неприязни, недоверию и вражде. И долго еще не будем верить вчерашнему противнику, даже если он снова превратится в работящего крестьянина или учителя…»

Ему показалось, что под вишнями, что накрыли полуразвалившийся штакетник, застыла чья-то фигура. Павел по привычке сжал в кармане рукоять пистолета… Нет, почудилось!

От Рыбной улицы переулками пять минут до дома Старцева.

«Может, зайти? – подумал Кольцов. – Вдруг старик неожиданно вернулся из Москвы. Всякое ведь бывает…» Он понимал, что обманывает себя, скрывает непреодолимое желание увидеть хибарку Лены, проверить, не засветилось ли ее полуразбитое оконце?

Вот и поворот на Никольскую, где стоит дом Старцева. Но Павел твердо зашагал дальше, на Екатерининскую. В гостиницу не пошел: было еще рано уходить с работы, да и бумажных дел накопилось изрядно, решил в них разобраться.

В кабинете, низко склонившись над столом, Павло своим единственным глазом проглядывал протоколы допросов и донесений. Он был похож на часовщика со вставной лупой, разглядывающего сложный механизм. Губы чекиста шевелились, словно он пробовал слова на вкус.

– Пре-зумп-ция! – проговаривал он по слогам. – Черт, вот грамотеи! Что оно такое: презумп-ция? Слово – как змеюка.

– Значит – предварительное положение, условие, – ответил Павел. – Это юриспруденция. А там всюду латынь. Древний Рим создал юридические науки, кодексы, суды…

– Хорошо тебе, – сказал Павло, сверкая воспаленным глазом. – Гимназию прошел… Ну презумпция, и что из того?

– А то: ранее в юридической науке по принципу презумпции за предварительным положением должно следовать доказательство. Если ты не доказал, что именно этот человек, без ведома хозяина или против его воли, присвоил себе его вещь, ты не можешь считать его вором или грабителем.

– Здрасте вам! А если эта вещь у него в кармане?

– Это, конечно, улика, но еще не все. А разве не может быть так, что человеку дали или, того хуже, подсунули вещь, чтобы затем его оговорить, опозорить?

– Может, конечно. И все равно буржуазная это наука, – вздохнул Павло. – Если так рассуждать, выходит, с преступностью нам никогда не справиться. С жуликами, ворами, бандитами. В душу надо заглядывать, а не в теории… От грамотеи!

Он покачал головой, потом вдруг вспомнил:

– Тут один до тебя заходил. Обещал снова зайти. По важному, говорил, делу. Военный, с портфелем. А морда такая пухлая! Должно, этот… интендант. Тоже словечко…

Интендант, и верно, зашел к ним, когда они уже закончили работу и настроились идти к себе в «Бристоль». Вежливо постучал, бесшумно протиснулся в дверь. Высокий, слегка одутловатый, с тремя кубиками в петлицах, Кольцову он показался знакомым. Нет, не просто где-то в каком-то коридоре мельком виделись, а разговаривали, может, называли друг друга по имени-отчеству. Он пристально смотрел на гостя и никак не мог до конца вспомнить, откуда он его знает. Пока тот не приблизился к нему и не сказал полушепотом:

– У меня к вам… как бы это поточнее… э-э… весьма деликатное дело.

Сосед Старцева! Это был он, хотя и видел Павел прежде только половину его лица, поскольку сосед брился.

– Что там у вас? – холодно спросил Кольцов, понимая, что никаких личных дел, тем более деликатных, у них быть не может. – Какая-то весть от Ивана Платоновича?

– Угадали, – даже обрадовался интендант, – но только наполовину. – Он коротко взглянул на Павло. – Наш товарищ? Проверенный?

– Другой у меня в кабинете бы не сидел…

– Вы не обижайтесь. Но дело-то, повторяю, деликатное… касаемое женщины…

– Да мне не больно-то и интересно, – выручил Кольцова Павло. – Я пока за сводками схожу.

Павло вышел, а интендант еще долго ходил словами вокруг да около.

– Понимаете… появилась эта самая женщина внезапно, примерно в такую же позднюю пору… Мне бы, конечно, ее задержать, но…

– Какая женщина? О ком вы?

– Ну, которая напротив в мазанке жила… лишенка… Так вот, она оставила для Ивана Платоновича письмо. Я поначалу подумал: может, его в Особый отдел… дело такое… навел справки. Жена белого офицера. Говорят, погиб. А может, и нет. Может, бродит где-нибудь здесь… А потом вас вспомнил, встречались. И профессор про вас говорил. Вот решил посоветоваться, чтобы нечаянно на Ивана Платоновича беды не навлечь. Вы, надеюсь, понимаете? Недобитков-то еще много. Мы, когда ее вещи из квартиры выбрасывали, чего только там не увидели: и иконы, и погоны, и даже какие-то царские ордена…

«Вот оно что, – сообразил Кольцов. – Это они въехали в квартиру Лены. Это Лена – лишенка. Вот почему этот интендант так осторожен. Боится обратного хода».

– Где письмо? – громче, чем следовало, спросил Кольцов.

– Вот! Извольте!

Интендант полез в карман гимнастерки и извлек оттуда конверт, собственно, даже не конверт, а склеенную вчетверо газетку, в которой просматривался белый листок. От письма пахло вишневой смолой, которая, видимо, послужила клеем.

Интендант почтительно передал письмо и отошел в сторону, а Павел стал посреди кабинета, поближе к мерцающей электрической лампочке, и стал читать.

«Дорогой Иван Платонович! Хотелось бы сообщить Вам, что я с детьми устроилась в слободе Алексеевка. Это совсем близко от станции Водяная, где Вы когда-то вели раскопки, и Вас тут хорошо вспоминают и низко кланяются. Здесь мне удалось поступить учительницей в четырехклассную школу при большом хмелевом хозяйстве, которое, впрочем, сейчас запущено. Однако мне платят родители учеников – в основном, конечно, натуральным продуктом, но, главное, мы не бедствуем. У детей есть молоко, яйца и лепешки. Дом наш стоит на обры-

вистом берегу у ручья, бегущего к Ворскле, оттуда мальчишки приносят и копья, и стрелы, и еще какие-то черепки – видать, там когда-то было старинное городище. Вот бы Вам приехать сюда да покопать! Глядишь, и нашли бы что-то исторически ценное! А еще отдохнули бы у нас, здесь много фруктовых садов, а в огороде выспевают небольшие, но вкусные кавуны. Желаю Вам доброго здравия. Никогда не забывающая Вас и Вашу доброту соседка Ваша Елена с детьми, которые тоже кланяются Вам…»

Сердце у Кольцова колотилось, пока он читал эти строки. Ему хотелось думать, что письмо в немалой степени адресовано и ему: ведь Лена знала о нем лишь то, что он приятельствовал со Старцевым, и письмо, отправленное археологу, было единственной возможностью напомнить о себе. Водяная – это всего лишь верст семьдесят от Харькова, почти рядом. Нет, он не потерял ее. Впрочем, что значит «не потерял»? Ведь он должен будет рассказать ей всю правду. Трагедия, которая разделяет их, не может быть тайной. Он не имеет права обманывать полюбившую его женщину. «Лена, я тот человек, который убил вашего мужа, отца ваших детей…» Хорошее продолжение их романа, так внезапно начавшегося. Да не семьдесят, а семьсот верст, семьсот тысяч верст разделяет их. Непреодолимое расстояние.

Интендант с тремя кубиками ждал, наблюдая за потупившим голову Кольцовым. Он по-своему понял затянувшееся молчание и раздумья чекиста.

– И заметьте, где нашла пристанище! Водяная – бандитские места. Не случайно она там скрывается, ох, не случайно.

– Вы читали письмо?

– Ну, как же! Бдительность в наше время…

– Меня мать веревкой учила: читать чужие письма нехорошо, – сказал Кольцов с нескрываемой неприязнью.

– А если это не чужие, а вражеские письма, тогда как? – с вызовом спросил интендант.

– Вы свободны! Честь имею!

Интендант так же бесшумно выскользнул из кабинета, но задержался у приоткрытой двери и вкрадчиво спросил:

– А может, лучше все-таки в Особый отдел? Письмецо-то вражеское, не по вашему, я так понимаю, профилю. А там специалисты, они разберутся.

– Закройте дверь! – не сдержался Павел.

Интендант торопливо закрыл дверь и нос к носу столкнулся с Заболотным, соседом Кольцова, тот возвращался с кипой сводок и других бумаг в руках.

– Нервный товарищ! – пожаловался на Кольцова интендант. – И прощается по-офицерски, как будто в царской армии служит: «Честь имею!» При чем здесь честь?

– А чего удивительного? – в ответ сказал Павло. – Честь – это честь. У кого она есть, а многие ею обделены. У товарища Кольцова она имеется. При чем же здесь царские времена?

Глава пятая

После встречи с интендантом Кольцову захотелось побыть одному, разобраться в том, что ему не удавалось понять на протяжении многих последних дней.

Отправив в гостиницу Заболотного, Кольцов молча ходил по кабинету, и его мысли то и дело возвращались к только что прочитанному письму Лены. Конечно, он отыщет ее и все расскажет, а там будь что будет. Он присел к столу, и незавершенные дела вскоре всецело поглотили его. Прежде всего он подробно записал суть беседы с посланцем Задова Петром Колодубом и положил листок в папку, где уже лежали прежние донесения агентов. Само письмо Левы Задова внимательно прочел несколько раз, подчеркнув красным карандашом все, что касалось намечавшихся передвижений махновских отрядов, а также настроения самого батьки. Для этого письма у него была особая папка с надписью «Сообщения Огородника». Под такой кличкой у Кольцова проходил Задов.

В нынешней работе Павла было очень много писанины и канцелярщины, которая изводила его – привыкшего к живой и опасной работе. Но он считал своим долгом довести дело до конца и убедительно доказать, что примирение с Махно не только возможно, но и необходимо для молодой власти. Кольцов закончил уже давно начатый «меморандум», который был намерен раздать всем руководителям: Раковскому и Косиору в республиканском руководстве, а также Дзержинскому, Троцкому и, конечно, Манцеву. О Ленине он не смел и думать: кто он такой, чтобы занимать вождя своими предложениями? Однако он догадывался: значение дела таково, что копия его «меморандума» обязательно ляжет и на стол к Ильичу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.